

И я молча стоял перед ним и не смел сказать ему настоящей сути дела. В душе Классовский должно быть решил, что «карьера» меня увлекла. И он как-то горько улыбнулся и не стал больше меня уговаривать.

О своем решении уехать на Амур я сейчас же написал отцу. Он жил тогда в Калуге. Дня через два - список еще не был отослан по «начальству» - меня позвали к директору корпуса Озерову. Директор показал мне телеграмму, полученную от отца. Телеграмма была такого содержания: «Выходить на Амур воспрещаю. Прошу принять нужные меры. Климат вредный для здоровья».

- Видите, я должен буду доложить великому князю о вас, и он не позволит идти против воли отца...

Я стоял на своем. По закону я имел право выбрать по своему желанию любой из полков русской армии.

- Ну, делайте как знаете. Пишите отцу. Но предупреждаю, если он не согласится, вас на Амур не выпустят.

Я взглянул еще раз на телеграмму. Ее конец открывал возможность для переговоров. И я снова написал отцу письмо, расхваливая ему климат Приамурья, пользу путешествий после двух лет усиленных занятий. Писал также и о возможности блестящей карьеры на Амуре, хотя тогда уже «карьера» для меня не представляла ни малейшего интереса.

Последние дни пребывания в корпусе я ходил как в воду опущенный. Горькая улыбка Классовского не выходила у меня из головы. Через несколько дней меня потребовали к Корсакову, помощнику начальника военно-учебных заведений. Опять тот же вопрос:

- Его высочество очень удивился. С какой это стати вы вздумали записаться на Амур?

Я боялся выдать свою мечту об университете, так как был уверен, что если заикнусь об этом, то великий князь Михаил Николаевич предложит мне стипендию. Отголоски либеральных идей еще носились в это время в Петербурге, а в придворных кругах много говорили о моих способностях, о моих дарованиях, что я так и ждал, что, если я проговорюсь, мне предложат стипендию. И опять мне пришлось путаться. Я стал говорить Корсакову о желании путешествовать, о флоре Приамурья и т. д.

Корсаков слушал, слушал и неожиданно прервал меня.

- Вы, верно, влюблены.

- Нет, если бы я был влюблен, я бы здесь остался: ближе к цели.

- Какая самонадеянность, - шутливо заметил Корсаков и добавил: - Я доложу его высочеству.

Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не случилось одно очень важное событие - большой пожар в Петербурге; оно косвенно разрешило мои затруднения.

26 мая, в Духов день, начался страшный пожар Апраксина двора. Середину двора, почти полверсты в квадрате, занимал тогда Толкучий рынок, весь застроенный деревянными лавчонками. Здесь продавались всевозможные подержанные вещи. В лавчонках, в проходах между ними и даже на крышах нагромождались подержанная мебель, перины, ношеное платье, книги, посуда. Словом, всякий хлам свозился сюда из всех концов города. Позади этого громадного склада горючего материала находилось Министерство внутренних дел, в архиве которого хранились все документы, касавшиеся освобождения крестьян; а впереди Толкучего, окаймленного рядом каменных лавок, стоял на другой стороне Садовой Государственный банк. Узкий переулок, частью обстроенный каменными лавками, отделял Апраксин двор от крыла здания Пажеского корпуса. Нижний этаж этого крыла занят был лавками с бакалейными и москательными товарами, а в верхнем этаже помещались квартиры офицеров. Почти насупротив Министерства внутренних дел, на другом берегу Фонтанки, находились громадные дровяные склады. И вот, Апраксин двор и дровяные склады занялись почти одновременно, в четыре часа пополудни.

Будь в это время сильный ветер, огонь уничтожил бы пол-Петербурга, в том числе и Государственный банк, несколько министерств, Гостиный двор. Пажеский корпус и Публичную библиотеку.

В тот день я был в корпусе и обедал у одного из офицеров. Мы помчались на пожар, как только увидели из окон первые черные клубы дыма. Зрелище было ужасное. Огонь трещал и шипел. Как чудовищная змея, он метался из стороны в сторону и охватывал кольцами лавчонки. Затем он поднимался внезапно громадным столбом, высовывая в сторону свои языки, и лизал ими новые и новые балаганы и груды товаров. Образовались вихри огня и дыма; а когда вихрь закружил тучу горящих перьев из перинного ряда, оставаться на Толкучем уже было невозможно. Приходилось бросить все на произвол огня.

Власти совершенно потеряли голову. Во всем Петербурге не было тогда ни одной паровой по-